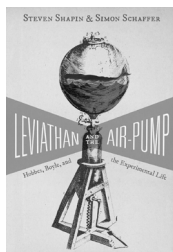


В поисках эпистемологии согласия: к 35-летию «Левиафана и воздушного насоса»



Steven Shapin, Simon Schaffer. *Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life* (with a new introduction by the authors). Princeton: Princeton University Press, 2011 (1985). — 456 p.

Программы Гоббса и Бойля в равной степени касались проблемы согласия, но их решения были радикально различны. По мнению Бойля, согласие должно было быть обеспечено получением экспериментальных результатов, преобразованных в факты реальной действительности с помощью коллективного свидетельства. Индивид соглашается с другими индивидами в свидетельствах и мнениях. Таким образом, программа была основана на коллективизации индивидуального чувственного опыта. <...> Гоббс находил свое решение не в мнениях и не в свидетельствах, а в поведении, не в индивиде, а в обществе. Когда он говорил, что люди образуют содружество, он имел в виду не некоторых конкретных людей. Все люди создают и поддерживают общество, потому что можно заставить всех людей, у которых есть естественный разум, понять, что это в их интересах... (152)

В ЭТОМ году исполняется ровно 35 лет одной из самых влиятельных и противоречивых работ в историографии науки — книге Стивена Шейпина и Саймона Шеффера «Левиафан и воздушный насос: Гоббс, Бойль и экспериментальная жизнь», впервые опубликованной издательством Принстонского университета в 1985 году¹. Это один из самых резонансных и од-

Статья подготовлена при поддержке РФФИ, грант № 18-011-00281 А, в рамках научно-исследовательского проекта «Историческая эпистемология: теоретические основания и исследовательские перспективы».

1. Книга была переиздана в 2011 году в формате *paperback*, с новым предисловием авторов и без присутствовавшего в первом издании приложения — перевода сочинения Гоббса *Dialogus physicus* с латинского на английский язык.

новременно практически неизвестных отечественному читателю² трудов по истории науки, написанных в XX столетии³. Объем и сложность работы, а также неудачное в контексте основных трендов интеллектуальной и политической истории России время ее появления лишили отечественного читателя более чем заслуженного своевременного издания книги на русском языке или хотя бы обстоятельной рецензии. Ныне вероятность ее перевода существенно снижается из-за все более почтенного по нынешним меркам возраста книги.

В то время как в англоязычном (а благодаря Бруно Латуру также и континентальном) науковедении⁴ без обращения к «Левиафану» не обходится практически ни одно фундаментальное исследование науки и научности⁵, в русскоязычной литературе он известен в основном (и почти исключительно) благодаря переводу

2. В 2013 году предпринималась попытка организовать перевод книги: в Российский фонд фундаментальных исследований подавалась заявка на грант в категории «Переводы фундаментальных трудов по философии, социологии и истории науки», однако была отклонена.
3. Не будет большим преувеличением утверждать, что «Левиафан» сделал имя Саймону Шефферу и во многом Стивену Шейпину. Для английского историка науки Шеффера книга оказалась первой большой работой (к моменту публикации ему было всего 30 лет). Его более опытный соавтор, американец Шейпин, в период работы над книгой работал в Университете Эдинбурга и считается одним из основателей связанного с так называемой Эдинбургской школой направления «социальных исследований знания» (наряду с Барри Барнсом, совместно с которым он публиковался еще до выхода «Левиафана», Дэвидом Блуrom и Гарри Коллинзом). Тем не менее и для Шейпина «Левиафан» стал творческим и карьерным прорывом. К началу XXI века книга стала именоваться «классической» и вошла в своего рода золотой фонд работ, определявших актуальную тематику и эпистемологию дискуссий о науке. Например, Питер Галисон в своей программной статье «Десять проблем истории и философии науки» сразу же обозначает «Левиафан» как одну из ключевых работ, связанных с первой из выделенных им проблем — «что такое „контекст“» (*Galison P. Ten Problems in History and Philosophy of Science // Isis. 2008. Vol. 99. P. 112*).
4. За неимением лучшего мы используем термин «науковедение» как аналог собирательного *Science Studies*, объединяющего многочисленные и недружные между собой направления исследований науки: собственно «историю науки», социологию науки, философию науки, так называемые *Science and Technology Studies (STS)* и др.
5. Примечательно, что это касается в равной мере и активно поддерживавших подход Шейпина и Шеффера STS-ориентированных авторов, и традиционных историков науки, для которых «Левиафан» всегда выступал «раздражающей альтернативой» и весьма основательным, но все же отвергаемым посягательством на методологический канон историка (см. подробности ниже в этой статье).

работы Латура «Мы никогда не были современными»⁶. Вторая глава этой книги, посвященная тому, что Латур называет «Конституцией» Нового времени, практически целиком посвящена разбору полемики Роберта Бойля и Томаса Гоббса в контексте работы Шейпина и Шеффера. Эту последнюю Латур характеризует как

... подлинное начало сравнительной антропологии, которая со всей серьезностью принимается за изучение науки, [авторы которой]... выходят за пределы интеллектуальной истории и переходят от мира мнений и аргументов в мир практики и сетей⁷.

Столь высокие оценки авторы «Левиафана» заслужили, если следовать Латуре, деконтекстуализацией науки (то есть отказом от иерархического упорядочения различных практик и различения «науки» и «не-науки» как «внутреннего» и «внешнего» по отношению к предмету рассмотрения) и последовательным вниманием к практикам, обеспечивающим генезис и (вос)производство обсуждаемых научных концептов. Однако «Шейпин и Шеффер все же остаются асимметричными в своем анализе», поскольку, придерживаясь подхода социологии знания, считают макросоциальный контекст приоритетным и в качестве основного объяснительного ресурса используют социальные практики, хотя они

... принимают меры предосторожности для того, чтобы использовать выражения «научный факт» не как ресурс, а как историческое и политическое изобретение, они не проявляют никакой осторожности как раз в отношении политического языка... подвергая критике науку, они рассматривают политику как единственный источник обоснованных объяснений⁸.

Так Латур ассимилировал работу Шейпина и Шеффера и создал иллюзию того, что «Левиафан» представляет собой качественную, но недостаточно радикальную версию анализа истоков новоевропейской научной традиции с позиций симметричного анализа сетей, то есть его собственного подхода. Однако внимательный

6. См.: Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб.: ЕУСПб, 2006. Книга была впервые опубликована по-французски в 1991 году под названием *Nous n'avons jamais été modernes*, а в 1993-м вышло английское издание, озаглавленное *We Have Never Been Modern*. Автор и научный редактор русского перевода предпочли изменить название, однако нам буквальное перевод представляется более соответствующим содержанию.

7. Там же. С. 77.

8. Там же. С. 89–91.

взгляд непосредственно на сам их весьма увесистый труд дает значительно более богатую и в целом иную картину.

Внутри Левиафана: тематическая анатомия чудовища

Краткий пересказ 400-страничного фундаментального исторического исследования — одна из самых неблагодарных задач, в особенности если оно наделено литературными достоинствами, насыщено анекдотами, цитатами на староанглийском и латыни и стилистическими изысками, превращающими научное исследование истоков науки в изящный исторический детектив. Тем не менее, прежде чем переходить к обсуждению рецепции книги Шейпина и Шеффера, необходимо хотя бы в самых общих чертах охарактеризовать ее устройство и идейные посылы — благо и сами авторы не скрывают, что писали не просто исследование по истории науки, но своего рода политический манифест⁹.

«Левиафан» включает восемь глав и приложение — перевод с латыни на английский язык работы Гоббса *Dialogus physicus* (1661), представляющей собой ответ на «Новые физико-механические эксперименты» Бойля (1660). Перевод был выполнен Шеффером и впоследствии изъят из второго издания «Левиафана» — по-видимому, под влиянием обрушившейся на переводчика критики¹⁰. Хотя книга вполне целостна, главы достаточно сильно отличаются друг от друга приоритетными сюжетами, стилистикой и тщательностью работы с исторической фактурой. Исходя из этих параметров, можно выделить три типа глав. Во-первых, «теоретические» — первая и последняя, в которых обсуждаются вопросы историографии и методологии исторического исследования науки (первая глава), а также представлены размышления авторов на тему взаимосвязи политических и научных практик (заключительная глава). Во-вторых, «исторические» (со второй по пя-

9. Вся заключительная глава с характерным названием «Государство науки: выводы» (*The Polity of Science: Conclusions*) может рассматриваться как своего рода политический манифест «республики ученых», которая для авторов выступает модельным образцом демократической республики как таковой. Например: «Открытое и либеральное общество было естественной средой обитания науки как поиска объективного знания. Такое знание, в свою очередь, являлось одной из гарантий дальнейшего существования открытого и либерального общества. Исказив одно, вы разрушите другое» (343).

10. Achbari A. The Reviews of Leviathan and the Air-Pump: A Survey // *Isis*. 2017. Vol. 108. № 1. P. 114.

тую и седьмая), посвященные истории изучения «пневматических фактов», от уходящего корнями в средневековую интеллектуальную культуру спора «вакуистов» и «пленистов» до позиции Бойля, Гоббса и их современников, а также конкретных экспериментальных проблем и опытов, вокруг которых выстраивались физика и химия воздуха. И в-третьих, «кейс по ранней истории воздушного насоса» (шестая глава), где подробно рассматривается появление и развитие прибора, связанные с ним экспериментальные и коммуникативные практики, инженерные, методологические и теоретические затруднения, включая весьма подробное рассмотрение устройства первых воздушных насосов на основе чертежей и переписки Христиана Гюйгенса с Робертом Гуком, который как помощник Бойля вел большую часть его корреспонденции¹¹.

Книга открывается краткой, очень плотной и, на момент написания, довольно авангардной по своим идеям вводной главой, в которой авторы излагают основные методологические принципы и цели своего исследования. Шейпин и Шеффер декларируют:

Наша цель состоит в том, чтобы разрушить ауру самоочевидности, окружающую экспериментальный способ получения знаний. <...> «Истина», «адекватность» и «объективность» будут рассматриваться как достижения, как исторические продукты, как суждения и категории действующих лиц. Они станут теми для исследования, а не ресурсами, которые могут быть для этого исследования использованы. <...> Мы намерены представить научный метод как кристаллизацию форм социальной организации и как средство регулирования социальных взаимодействий внутри научного сообщества (13–14).

Таким образом, радикальная историзация эпистемологии науки оказывается сопряженной с еще более радикальной социологизацией предмета, поскольку «решение проблемы знания заключено в практических решениях проблемы социального порядка» и наоборот (15). И свое обращение к полемике Бойля и Гоббса по вопросу о статусе экспериментального знания и эпистемологическом выборе в целом авторы обосновывают именно тем, что эта полемика позволяет увидеть «конвенции и ремесло» (18), сформировавшие условия для того типа связи эпистемологическо-

11. Отметим, что представленное в седьмой главе исследование истории воздушного насоса до сих сохраняет статус эталонного, — см., напр.: *Wellerstein A. The Epistemology of Civility and the Civility of Epistemology // Isis. 2017. Vol. 108. № 1. P. 140.*

го и социального порядка, с которой мы имеем дело (разумеется, с некоторыми поправками) вплоть до настоящего времени.

Уверенность во взаимозависимости эпистемологии и политики (исторически наблюдаемыми проекциями которых являются система знания — «наука», если говорить об интеллектуальной культуре Нового времени, и социальный порядок) дает Шейпину и Шефферу одновременно и ключ к интерпретации методологических поисков и разногласий Бойля, Гоббса и ряда их современников, и центральную тему книги: *проблему оснований социального согласия* (см. эпиграф). Социальное согласие¹² является центральной темой исследования, сюжет которого построен вокруг споров о воздушном насосе и принципах его применения (развернувшихся преимущественно в 1650–1660-е годы), и в этом качестве требует несколько более обстоятельных пояснений — особенно если учесть, что эта тема практически полностью игнорируется как в упомянутом выше изложении Латура, так и в современной рецепции книги, в частности в материалах номера журнала *Isis*, посвященного «повторному прочтению» «Левиафана» и вышедшего в 2017 году (см. ниже).

Тема социального согласия при объяснении мотивов и позиций участников дискуссий об экспериментальном знании становится центральной благодаря социально-историческому контексту — Английской революции и последовавшей за ней реставрации, на период которой и пришлась большая часть полемики Бойля и Гоббса. Английская революция, включившая в себя серьезные экономические проблемы, казнь короля, религиозную поляризацию населения и гражданскую войну, нанесла тяжелый удар по культурным основаниям современников, поставив под сомнение самые устойчивые казавшегося незыблемым и подкрепленного религиозными санкциями традиционного социального порядка. По мнению Шейпина и Шеффера, ужас гражданской войны и страх ее возвращения в связи с утратой оснований устройства общества служил основной движущей силой всех теоретических

12. В оригинале *assent*, что также означает «санкция», «дозволение» и т. п. Имеется в виду такая форма согласия, которая, с одной стороны, является консолидацией общественного мнения (конвенцией), а с другой — может служить основанием дальнейшей практики (экспериментальной или политической) в качестве выданного обществом «дозволения». В контексте «Левиафана и воздушного насоса» перевод *assent* как «согласия» представляется оптимальным также ввиду того, что термин является своеобразным фокусом всего пучка активно употребляющихся авторами слов и выражений с семантикой (социального) согласия: *consent, convention, agreement* и т. д.

поисков той эпохи, и любые эпистемологические споры были в конечном счете направлены на поиск альтернативного основания социального порядка. Эти основания должны были быть достаточно надежными, чтобы исключить повторение гражданской войны, и достаточно «социальными», поскольку только общее согласие граждан может что-то гарантировать в мире, где их несогласие обезглавливает помазанного короля и заставляет граждан одной страны убивать друг друга.

Чтобы согласие могло быть достигнуто, необходимо определить «правильный» способ его поиска и воспроизводства. Это выводит на первый план вопросы методологии и объясняет суть связки «эпистемология — социальный порядок»: чтобы достичь согласия, нужно знать, как это сделать, то есть нужно иметь метод; в свою очередь, метод не может иметь иного основания, кроме согласия, поскольку любое другое основание, как показала история Английской революции, рано или поздно может обрушиться и свергнуть мир в хаос:

В конечном счете и онтология, и эпистемология имели одинаковое значение для достижения и сохранения общественного спокойствия. Беспорядок и гражданская война могли также легко быть произведены неправильным пониманием природы и происхождения знания, как и неправильным представлением о том, какие виды вещей существуют. Покажите людям, что такое знание, и вы покажете им основания согласия и социального порядка (100).

Страх гражданской войны и поиск оснований социального согласия — вот приоритетные детерминанты творчества как главных героев книги, так и многочисленных второстепенных персонажей, выступающих оппонентами и сторонниками Роберта Бойля.

Реконструкцию позиции Бойля (вместе с ассоциированными с ним Робертом Гуком, Томасом Спратом¹³ и большинством основателей Лондонского королевского общества), то есть позиции в итоге победившей «экспериментальной» эпистемологии, Шейпин и Шеффер проводят преимущественно во второй и пятой главах. Вкратце ее можно описать так. Надежным знанием

13. Томас Спрат (1635–1713) — английский священник (с 1684 года — епископ Рочестера), писатель, один из основателей и первый историк Лондонского королевского общества. Его работа «История Лондонского королевского общества» (*History of Royal Society of London*) была впервые опубликована уже в 1667 году, через семь лет после его официального основания.

является знание, извлеченное непосредственно из вещей. Поэтому оно не может быть априорным, но должно опираться на чувственные данные — здесь Бойль следует Фрэнсису Бэкону. Однако сами по себе человеческие чувства слабы и ненадежны, а потому нуждаются в вооружении и дисциплине.

Поэтому научные инструменты навязывают чувствам в равной мере исправление и дисциплину. В этом отношении дисциплина, навязываемая такими устройствами, как микроскоп и воздушный насос, была аналогична дисциплине, навязанной чувствам разумом. Одних чувств было недостаточно, чтобы составить правильное знание, но дисциплинированные чувства гораздо лучше подходили для этой задачи (37).

Этот процесс дисциплины является взаимным, поскольку дисциплилируемые чувства сами представляют собой средство дисциплины разума, не позволяя ему потерять предмет. В свою очередь, «новые научные инструменты дисциплинируют чувственное наблюдение посредством контроля доступа» к предмету наблюдения (38).

Вооруженные экспериментальными приборами чувства оказывались более сильными (потенциально не ограниченными) и дисциплинированными, что открывало доступ, с одной стороны, к «реальной действительности»¹⁴, поскольку помогало извлекать знание непосредственно из нее, а с другой — к социальному согласию, поскольку позволяло добиться соучастия в экспериментальном знании (потенциально) всех членов сообщества. Основной проблемой при этом оставалось обеспечить соучастие в экспериментальном опыте, поскольку для внешнего наблюдателя экспериментатор имеет дело с фактами, способность которых быть «реальной действительностью», как хорошо показал Гоббс, вовсе не очевидна.

Решение проблемы Бойль видел в «технологиях» производства экспериментальных фактов — материальной (устройство прибора),

14. Шейпин и Шеффер используют термин *matter of fact*, который отличается от *fact* и обозначает нечто ясное, признанное и более достоверное, чем «факт», — что-то, что можно считать принадлежащим самой действительности в той же мере, что и познающему сообществу (в отличие от «фактов», которые скорее описывают данности, а не вещи как таковые). «Если бы этот опыт можно было распространить на многих и, в принципе, на всех людей, тогда результат мог бы быть провозглашен реальной действительностью. Таким образом, реальную действительность следует рассматривать в качестве как эпистемологической, так и социальной категории» (25). Таким образом, *fact* принадлежит частному, а *matter of fact* — всеобщему (коллективному) чувственному опыту.

литературной (язык описания) и социальной (правила научного сообщества) (25). Материальная технология обеспечивала воспроизводимость (устойчивость) экспериментальных фактов, позволяя предъявлять их (потенциально) произвольному количеству свидетелей. Социальная технология гарантировала надежность имеющихся свидетельств и свидетелей, позволяя принять на веру их свидетельство так же, как показания благонадежного свидетеля принимаются за истину судом. Литературная технология — самая важная, по оценке Шейпина и Шеффера, — являлась инструментом «виртуального свидетельства»: при правильно построенном описании эксперимента обеспечивается «создание в разуме читателя такого образа экспериментальной сцены, который устраняет необходимость и непосредственного свидетельства, и повторения» (60). «Литературная технология виртуального свидетельства» Бойля весьма напоминает существенно более зрелую, но построенную на той же мечте о подлинно объективном, «буквальном» описании программы логического позитивизма и предполагает, что благодаря добросовестному и беспристрастному («симметричному», как сказали бы адепты *STS*) описанию, желательно с точными визуальными иллюстрациями (например, изображениями экспериментальной сцены), читатель превращается в полноценного соучастника событий и тоже может рассматриваться как «свидетель».

Поскольку экспериментальные факты извлекаются из самой действительности и закрепляются всеобщим свидетельством, «экспериментальный путь» к знанию открывает и эпистемологию согласия: этос и методология эксперименталистов являются оптимальным политическим образцом — согласие достижимо как всеобщее свидетельство по поводу воспроизводимых и поддерживаемых дисциплиной строгого метода фактов, которые в этом качестве являются уже не просто фактами (*facts*), а самой реальной действительностью (*matters of facts*). Как говорил герой фильма «Тот самый Мюнхгаузен», «это больше, чем факт, — так и было на самом деле».

Новая связка «эксперимент — этос — дискурс», по сути, предполагала создание принципиально нового сообщества людей знания и принципиально новую роль этого сообщества, которое из группы талантливых чудаков (например, алхимиков, которых Бойль противопоставлял экспериментаторам) превращалось в эталон гражданского общества как такового:

Литературная технология Бойля драматизировала социальные отношения, присущие сообществу философов-экспериментаторов. Только путем установления верных правил дискурса можно

создавать и защищать факты реальной действительности (*mat-
ters of fact*), и только путем встраивания этих фактов реальной
действительности в согласованные основания знания можно со-
здавать и поддерживать моральное сообщество экспериментато-
ров (69).

Знание превратилось в совокупность экспериментальных дан-
ных (Бойль последовательно отрицал любые объяснения, кроме
непосредственно экспериментальных, — никаких причин (*caus-
es*), только факты; развитием этой линии декларируемого отказа
от априорного знания в следующем поколении станет знаменитое
ньютоновское *hypotheses non fingo*¹⁵), а сообщество экспериментато-
ров — в эталон социального порядка и естественный носитель клю-
ча к социальному согласию. Все это предполагало повышенное вни-
мание к этику исследователя и ревизию правил допуска в соответ-
ствующее (говоря современным языком, «научное») сообщество.

Наиболее радикальный и последовательный оппонент Бойля,
Гоббс, оказался весьма чувствительным к этим моментам и, со-
гласно Шейпину и Шефферу, не просто отвергал конкретные ре-
зультаты и даже сам экспериментальный метод Бойля, но проти-
востоял его проектам эпистемологии согласия и исследователь-
ского сообщества в целом. Как отмечают авторы книги,

... у Гоббса и Бойля было две общие черты: во-первых, они оба су-
дили о ценности знаний, принимая во внимание моральную
конституцию и известную добросовестность его производителей.
<...> Во-вторых, Гоббс и Бойль считали, что философа след-
дует рассматривать как человека благородного. И все же их ха-
рактеристики роли и практики философа были диаметрально
противоположны (130).

Основой позиции Гоббса, представленной преимущественно
в третьей и четвертой главах, был последовательный конструк-
тивный рационализм, также подчиненный задаче поиска эписте-
мологии согласия, но опирающийся на совершенно иные, нежели
у Бойля, базовые интуиции и метод.

15. «Гипотез не измышляю» — знаменитая фраза Ньютона из ответов на критику, опубликованных во втором издании «Математических начал натуральной философии» (1713). Она породила множество разнообразных интерпретаций в историографии науки и представляется странной в контексте традиционного рассмотрения Ньютона в качестве одного из столпов гипотетико-дедуктивного метода, то есть как раз «измышляющего» гипотезы.

Для Гоббса очевидно, что наблюдения (экспериментальные факты) не содержат объяснений и причин и поэтому сами по себе не могут составить знания, которое должно быть связным и понятным любому, а не только очевидцу («свидетелю»). Его критика «опытов» Бойля как раз и была призвана показать принципиальную эпистемологическую неполноту экспериментальных результатов, а вовсе не технические ошибки конструкции или неясности наблюдений, как поначалу казалось Бойлю. Все возражения последнего (основанные на совершенствовании конструкции насоса и уточнении наблюдений и правил репрезентации) Гоббс отменял, демонстрируя, что никакая наблюдаемая картина сама по себе ничего не объясняет и всегда совместима с самыми различными представлениями о причинах и законах, не схватываемых экспериментальной аппаратурой (четвертая глава). Примечательно, что, когда Бойль наконец понял позицию Гоббса, он перестал отвечать на его критику, тем самым де-факто признав фундаментальную — вплоть до невозможности содержательного диалога — несовместимость их эпистемологических оснований.

По мнению Гоббса, экспериментальные факты Бойля в отсутствие фундаментального теоретического (рационального) объяснения оставались всего лишь частными опытами — мнениями (*beliefs*), культивируемыми маленьким сообществом сектантского типа (Лондонским королевским обществом). И если для Бойля основой согласия должна была стать специфическая практика свидетельства, замыкающаяся на воспроизводимые источники чувственных данных и персональный опыт наблюдателя, то для Гоббса такой путь представлялся изначально тупиковым: в основу согласия должно быть положено нечто действительно общее для всех людей — разум и поведение (*behavior*).

На этих основаниях Гоббс противопоставляет мнение поведению и разуму. И поведение, и разум находятся в открытом доступе: поведение — потому что оно видно всем; разум — потому что все люди обладают им и обладают в равной мере. Действия можно успешно контролировать, если это необходимо, с помощью принуждения (105).

Экспериментальные факты, по Гоббсу, не могут служить основанием социального согласия, потому что они слепые (ничего не объясняют и не предъявляют собственных причин) и потому что они принадлежат области мнений, то есть области частного, персонального знания, а «любое общество, которое поддерживает индивидуалистические претензии в области знания, не-

избежно впадет в хаос» (104). Основанием может выступать лишь общность устройства разума и поведения, и наличным эталоном эпистемологического проекта, базирующегося на такого рода общности, является геометрия, концентрирующая как правила разума (аксиомы и логическая структура), так и правила поведения (Гоббс дает геометрическим объектам конструктивистское обоснование, рассматривая их как последовательные результаты типических манипуляций, свойственных человеку, — линия как простейшее перемещение точки, плоскость как перемещение линии и т. д.). При этом речь принципиально идет именно об универсальных и видоспецифичных компонентах человеческой разумности, составляющих природу любого человека:

... задание определений было способом начать интеллектуальное предприятие, направленное на обеспечение всеобщего согласия, и такое знание противопоставлялось убеждению, мнению или суждению какого-либо отдельного человека (101).

Правила разума и правила поведения — в равной мере «устанавливаемые» человеком (в том смысле, что они специфичны для человеческого вида и поэтому являются предметом естественного согласия) — основа социального порядка, и дело философа — не наблюдать и подговаривать других наблюдателей, а диктовать, основываясь на свойствах человеческой природы; основание согласия находится не во внешней природе, а в природе человека.

То, что в контексте методологии науки выглядит спором радикальных версий эмпиризма и рационализма, в контексте политики и социальной инженерии оборачивается взаимными обвинениями в стремлении к узурпации власти, тоталитаризму и неминуемой гражданской войне как итогу реализации предлагаемых проектов.

Стороны спора изображали друг друга как лидеров банд, а их образцовые сообщества — как немногим более достойные, чем какой-то уличный сброд. Гоббс утверждал, что содружество экспериментаторов было одновременно слишком эксклюзивным и слишком открытым. Во-первых, оно было приватным. Оно отказалось впустить Гоббса и его философию. То, что провозглашалось публичными истинами, в действительности было приватным суждением избранных. Во-вторых, в экспериментаторах и их методах не было ничего особенного. Они были в той же мере политически мотивированными, что и любое содружество, и не более искусными, чем дети или ремесленники. Экспериментаторы представляли собой просто еще одну группу заговорщиков, интересы которой заключались в получении власти над

гражданами и коварное содружество которых стремилось к незаконной автономии от государства (320).

В свою очередь,

... так же, как Гоббс обвинил экспериментаторов в преступлении создания частного содружества, так и экспериментаторы увидели в Гоббсе представителя влиятельной, но тайной партии, могущественной среди придворных и угрожающей приятию эксперимента. Он был «великим Левиафаном, подлинным Дагоном многих молодых помещиков и щеглов»¹⁶ (324).

Бойль возлагал очень большие надежды на свои «технологии», прежде всего на совершенствование конструкции воздушного насоса и на развитие средств «виртуального свидетельствования». Однако на практике эпистемологический проект Бойля при его жизни оставался скорее манифестом, чем практическим достижением.

Историческая новизна насоса как конкретного прибора и экспериментальной практики в целом создавала колоссальные проблемы как раз там, где насос должен был окончательно избавить экспериментаторов от старых эпистемологических ограничений опытного знания: воспроизводимость и точность результатов, возможность независимой проверки и ясность свидетельств (этому целиком посвящена шестая глава). Вплоть до конца третьей четверти XVII века, когда «воздушный насос как инструмент был очищен от связанных с ним интересов и оказался беспроблемным ресурсом для „дела экспериментальной философии“» (276), экспериментаторам чрезвычайно плохо давалось воспроизводство результатов, а попытки репликации стандартных опытов на других устройствах и вовсе чуть не уничтожили экспериментальный проект, выявив сложнейшие проблемы калибровки устройств и стандартизации технических и дискурсивных практик.

Описывая ситуацию с конструированием и экспериментальным применением воздушных насосов в 1650–1660-х годах, Шейпин и Шеффер отмечают, что «с каждым действующим насосом были связаны серьезные затруднения» как из-за инженерных пробелов, так и из-за атак критиков. Работающих насосов было очень мало, и из-за их постоянной переделки и отсутствия канонических процедур производства и калибровки фактическим эталоном служил (в силу чисто социальных причин) насос Бойля:

16. «Помещиков и щеглов» — в оригинале игра слов: *squires or squirrels*. Авторы, по-видимому, цитируют здесь Джона Валлиса; ссылка отсутствует.

по сути, калибровка требовала от создателей новых насосов, например Гюйгенса, визуального сличения машин и их работы, без которого, на основе одних лишь письменных инструкций Бойля, построить *Machina Boyleana* никому не удавалось (229).

Описывая коллизии вокруг экспериментов Гюйгенса, который заинтересовался результатами Бойля и попытался воспроизвести их, построив собственный воздушный насос, Шейпин и Шеффер отмечают, что

... прежде чем любой экспериментатор сможет судить, хорошо ли работает его машина, ему придется принять экспериментальные результаты (*phenomena*) Бойля в качестве реальной действительности. И прежде чем он сможет принять эти результаты в качестве реальной действительности, он должен знать, что его машина работает хорошо (226).

Итогом полемики Бойля с противниками и параллельно разворачивавшейся борьбы с трудностями создания трех «технологий» обеспечения торжества «экспериментальной философии» (которую Гоббс категорически отказывался признавать философией) стало, по мнению Шейпина и Шеффера, осознание зависимости победы эксперименталистской эпистемологии от формирования и гегемонии сообщества экспериментаторов:

Утверждение набора общепринятых фактов реальной действительности в пневматике требовало утверждения и определения сообщества экспериментаторов, которые работали на основе общих социальных соглашений: то есть эффективное решение проблемы знания было основано на решении проблемы социального порядка (283).

Так поиски решения проблемы социального согласия привели Бойля и Гоббса через спор о статусе экспериментальных фактов к проблеме эпистемологии как таковой и завершились борьбой за принципы организации интеллектуального сообщества и его взаимоотношений с системой политической власти. Шейпин и Шеффер заключают:

Связь между средствами обеспечения согласия и установлением непрерываемого гражданского порядка была очевидна как для экспериментаторов, так и для Гоббса. ...технологии Бойля могли обеспечить установление согласия только в безопасном для экспериментальной практики социальном пространстве. Гоббс обрушивался на безопасность этого пространства, потому что

это был очередной случай рассеяния власти, двойственного видения политической лояльности. Таким образом, споры между Бойлем и Гоббсом стали вопросом защиты определенных социальных границ и интересов, которые они выражали (283).

В последней главе Шейпин и Шеффер следующим образом резюмируют свои результаты:

Нам нужно было соединить три вещи: (1) устройство (*polity*) интеллектуального сообщества; (2) решение практической проблемы создания и обоснования знания; и (3) устройство общества в целом. Мы установили три связи: мы постарались показать, (1) что решение проблемы знания является политическим; оно основано на установлении правил и соглашений применительно к отношениям между людьми в интеллектуальном сообществе (*polity*); (2) что полученное и подтвержденное таким образом знание становится элементом политической деятельности в обществе в целом; невозможно, чтобы мы поняли природу политических действий в государстве, не обращаясь к продуктам интеллектуального сообщества (*polity*); (3) что борьба между альтернативными формами жизни и характерными для них формами интеллектуальных продуктов зависит от политического успеха различных кандидатов в части проникновения в деятельность других институтов и других заинтересованных групп (342).

Наконец, подводя итоги исследования, авторы дают романтический либеральный аккорд — «открытое и либеральное общество было естественной средой обитания науки, понимаемой как поиски объективного знания», которое, «в свою очередь, являлось одной из гарантий продолжения открытого и либерального общества» (343), — а затем уходят в обеспокоенный минор, констатируя:

Мы больше не уверены в том, что традиционные характеристики развития науки адекватно описывают ее реальность, поскольку мы все больше сомневаемся в том, соответствует ли либеральная риторика реальной природе общества, в котором мы в настоящее время живем. Наши современные сложности определения нашего знания, нашего общества и отношений между ними сосредоточены на тех же самых дихотомиях между общественным и частным, между властью и знанием, которые структурировали споры, рассмотренные нами в этой книге. Мы считаем наше научное знание открытым и принципиально доступным, но публика его не понимает. Научные журналы есть в наших публичных библиотеках, но они написаны на языке, чуждом гражданам. Мы говорим, что наши лаборатории представляют собой одно из на-

ших самых открытых профессиональных пространств, но публика в них не входит. Наше общество считается демократическим, но общественность не может призвать к ответу то, чего не может постичь. Форма знания, которая является наиболее открытой в принципе, стала на деле самой закрытой (343).

Возвращаясь к теме социального согласия, потерянной авторами в эмоциональной политической концовке, можно добавить, что некогда открытая дискуссиями XVII века тема эпистемологии социального согласия в контексте обоснования знания и метода науки в дальнейшем была из этого контекста исключена. Беспкойство об основании согласия сменила догматика победившего экспериментального проекта (впитавшего некоторые черты альтернативных, трансцендентально-рационалистических проектов в духе Гоббса и Декарта), и даже развернувшиеся с последней четверти XX века дискуссии о социальных основаниях науки всегда рассматривают ее «социальную природу» как естественный ресурс объяснения, то есть историческую данность, а не как задачу, которую поколению Бойля и Гоббса еще нужно было решить¹⁷.

Оглядываясь назад: рецепция и контр(а)цепция

В своей недавно вышедшей на русском языке фундаментальной работе по истории науки Нового времени Дэвид Вуттон утверждает, что «Левиафан и воздушный насос» признан «самой влиятельной работой в этой области после „Структуры научных революций“ Томаса Куна»¹⁸. Это заявление тем ценнее, что сделано оно историком, резко отрицательно относящимся как к методологии и идеологии «Левиафана», так и к творчеству Шейпина и Шеффера в целом, отождествляемому им с «сильной программой» социологии научного знания и интервенцией последней на традиционную территорию истории науки. Вуттон пишет:

Эти ученые рассматривают науку с точки зрения риторики, убеждения и авторитета, потому что принцип симметрии обязыва-

17. См. по этому поводу оценку Шейпина и Шеффера как «истинных бойлицев» по методу у одного из рецензентов (*Bouterse J. On Rereading a Classic // Isis. 2017. Vol. 108. № 1. P. 132*), а «Левиафана» — как примера «вигской» истории науки у Яна Хакинга (ниже в этой статье).

18. *Вуттон Д. Изобретение науки. Новая история научной революции. М.: Азбука-Аттикус, 2018. С. 38. Ср.: «...книга, которая, без сомнения, стала классикой» (Cohen H. F. A Second Look: Leviathan and the Air-Pump. Editor's Introduction // Isis. 2017. Vol. 108. № 1. P. 107).*

ет их предполагать, что суть науки именно в этом. И это прямо противоречит взглядам самих первых ученых. Разновидность истории, которая позиционирует себя как чрезвычайно чувствительная к языку людей прошлого, решительно отвергает все, что эти люди говорили о себе, причем неоднократно¹⁹.

Влиятельность «Левиафана» (как отчасти и «Структуры научных революций») проявляется как минимум в поляризации исследователей науки и разделении их на два лагеря — «сторонников» и «противников» исторической эпистемологии, предложенной Шейпином и Шеффером, — на первый взгляд соответствующем противопоставлению «историков» и «социологов».

В 2017 году один из самых авторитетных журналов по истории науки — издаваемый с 1913 года Чикагским университетом *Isis* — опубликовал в рубрике *A Second Look* подборку рецензий на «Левиафан», включающую обзор ранее вышедших рецензий (31 публикация); пять текстов тех авторов, что уже рецензировали книгу сразу после ее первого издания в 1985 году, и четыре новые рецензии, заказанные авторам, которые были знакомы с «Левиафаном» уже не иначе как с «живой классикой». Затем все подготовленные материалы были переданы Шейпину и Шефферу, которые написали заключительный комментарий ко всей подборке²⁰.

Участники организованного *Isis* проекта четко продемонстрировали две основные тенденции современной рецепции «Левиафана»: (1) книга сохраняет функцию индикатора методологического лагеря («историки» vs «социологи»), однако соответствующий контраст имеет значение в большей степени для поколения самих Шейпина и Шеффера; (2) для поколений науковедов, выросших после выхода «Левиафана», эта книга приобрела статус классической, что означает в том числе утрату полемической остроты и соединение восхищения с восприятием работы как потерявшей непосредственную актуальность²¹; в свою очередь, это сопряжено с забвением ряда заслуживающих внимания идей, намеченных в «Левиафане».

19. Вуттон Д. Изобретение науки. С. 38.

20. Cohen H. F. *A Second Look*. Среди авторов, принявших участие в обсуждаемом проекте *Isis*, шесть историков науки (Томас Хэнкинс, Доминик Пестрэ, Джон Хейлброн, Пол Вуд, Лицзинь Цзян, Йерун Бутерс) и три представителя STS (Тревор Пинч, Виветт Гарсиа-Дайстер, Алекс Веллерстейн).

21. Как отмечает Пол Вуд, цитируя предисловие Шейпина и Шеффера ко второму изданию их работы, «Левиафан» принадлежит прошлому, поскольку работа вписана в связанный с Куном и исследованием «научных революций» контекст, а «академический мир, в котором был написан „Левиафан и воздушный насос“, действительно полностью утрачен» (Wood P. *Behe-*

Как уже сказано выше, работа Шейпина и Шеффера в целом вызвала отторжение у профессиональных историков науки. Представители этого сообщества отметили оригинальность подхода, отдельные находки (в основном в области философии и методологии науки) и исследование развития воздушного насоса в 1650–1660-е годы. Однако, как подытоживает автор одной из самых доброжелательных «старых» рецензий от историков науки Томас Хэнкинс, «различие между геометрией и химией все-таки не целиком социальное»²². В своем «повторном взгляде» 2017 года Хэнкинс отмечает:

... ранние рецензии были благоприятными, но настороженными... [однако,] что бы ни думали о социологии науки, мало кто не согласен с тем, что Шейпин и Шеффер внесли важный вклад в историю науки XVII века²³.

Та или иная форма «важного вклада» признана практически всеми рецензентами — среди почти 40 рецензий (с учетом «повторного взгляда» *Isis*) безусловно отрицательных практически нет. Среди важнейших «вкладов» и линий обсуждения, помимо уже названных, рецензентами были выделены: исследование науки после Томаса Куна и дальнейшее развитие идей автора «Структуры научных революций» (удивительно, что некоторые рецензенты восприняли анализ экспериментальных практик Бойля в «Левиафане» как пример реконструкции «нормальной науки»); «симметричная» модель анализа, предполагающая равное внимание как к «победителям», так и к «проигравшим» — как к идеям, получившим признание, так и к тем, которые были преданы забвению или признаны «ложными»; анализ зарождения Лондонского королевского общества и роли Бойля и Гоббса в этом процессе (в целом признанный рецензентами-историками эвристичным, но неадекватным); исследование «экспериментальной жизни», по поводу которого наиболее интересно высказался Ян Хакиннг, уличивший авторов в «вигской» историографии тандема «наука — либеральная демократия»²⁴; специфика исторического контекста — рецен-

moth v. the Sceptical Chymist, Revisited // *Isis*. 2017. Vol. 108. № 1. P. 124). Как подытоживает свою рецензию «молодой» читатель, «все еще сложно поверить», что «(пере)читывание классики, о которой вы так часто читали, будет стоить потраченного времени» (*Bouterse J. On Rereading a Classic*. P. 132).

22. Цит. по: *Achbari A. The Reviews of Leviathan and the Air-Pump: A Survey*. P. 114.

23. *Hankins T. Reviewing a Review // Isis*. 2017. Vol. 108. № 1. P. 118.

24. *Hacking I. Artificial Phenomena // British Journal for the History of Science*. 1991. Vol. 24. P. 235–241. По мнению Хакиннга, «Левиафан» представляет собой историю «истоков» прогрессистского типа, в которой конечный ре-

зенты выразили сожаление по поводу отсутствия выхода за пределы собственно английской истории (создается впечатление, что зарождение экспериментализма — сугубо британский сюжет) и притом указали на «неправомерность» обобщения тенденций развития естествознания, характерных для Англии эпохи Карла II, на другие эпохи и территории²⁵. Наконец, специального внимания — преимущественно со стороны британских историков — удостоился язык работы Шейпина и Шеффера, ядовито охарактеризованный Мари Боас Холл как «социологизм» (*sociologese*), а Ричардом Вестфоллом — как «первазивный социологический жаргон, позаимствованный у Витгенштейна и Фуко»²⁶.

Своеобразной квинтэссенцией восприятия «Левиафана» историками науки является рецензия Джона Хейлброна, аллегорично озаглавленная *A Last Judgement*²⁷. Он отмечает огромное значение книги, которая «вдохнула жизнь в историческую социологию научного знания», «оживила нашу дисциплину и помогла сделать ее доступной для широкой публики»; Хейлброн дает работе «благоприятную» оценку, однако, отвечая на вопрос редакции *Isis* о причинах культового успеха «Левиафана», отмечает, что «тем не менее мне было бы трудно объяснить культовый статус, которого достигла книга, если только не рискнуть предположить, что не все поклонники ее прочитали»²⁸. Далее следует короткий, но глубокий, доброжелательный и одновременно ироничный разбор, суть которого сводится к тому, что Шейпину и Шефферу удалось сделать ряд оригинальных и эвристичных «жестов», вдохновляющих ученых и способных инспирировать новые эпистемологические и конкретно-исторические исследования²⁹, однако не удалось пре-

зультат — политический либерализм и связанный с ним эпистемологический проект — рассматривается как исторически желательный, что представляет собой «истинно вигскую историю».

25. Heilbron J. L. *A Last Judgment // Isis*. 2017. Vol. 108. № 1. P. 123.

26. Achbari A. *The Reviews of Leviathan and the Air-Pump: A Survey*. P. 115.

27. Буквально — «последнее суждение», «последний суд». В библейском контексте, на который сразу ссылается автор, означает «Страшный суд».

28. Heilbron J. L. *A Last Judgment*. P. 122. Следует отметить, что Хейлброн активно обыгрывает двусмысленность слова *cultist*, которое в его тексте используется и в традиционном значении «сектантский», «относящийся к деятельности религиозных культов», и в значении «культовый» как добившийся безусловного социального признания и обладающий «армией поклонников» (как «культовый фильм» или «культовая книга»).

29. Например, Хейлброн в качестве одной из «культовых» особенностей работы называет «зачатки литургии»: «Я имею в виду изобретение троицы „материальная, литературная и социальная технологии“. Это блестящее нововведение, весьма захватывающее для склонных к чтению, памятливых

образовать «жесты» в «результаты» и предоставить достаточные основания для своих догадок — собственно исторический анализ недостаточен и неаккуратен:

...следуя шотландскому праву, статус приведенных в книге аргументов в поддержку теоретических утверждений Шейпина и Шеффера относительно создания естествознания — «не доказано»³⁰.

Социологическое сообщество, напротив, приветствовало «Левиафана»³¹ — книга сразу же вошла в корпус ключевых работ зарождавшегося в это время в Великобритании направления «социальных исследований знания» (*Social Studies of Knowledge, SSK*) и

...была воспринята как поворотный пункт для научных исследований и нашего понимания практики философии природы середины XVII века³².

При этом рецензии социологов — исключая Бруно Латура, который изобретательно переписал и встроил работу Шейпина и Шеффера в свою собственную, — намного менее содержательны, чем отзывы историков, и носят (вплоть до настоящего времени) манифестационно-апологетический характер: авторы приветствуют смелость и новаторство «Левиафана», настаивают на его непреходящей роли в развитии исследований науки и оправдываются по поводу моментов, вызывавших наиболее резкую критику историков. В частности, Тревор Пинч посчитал необходимым оправдаться по поводу «социологиша», указав, что

... нам вообще-то следует приветствовать социологическую терминологию, если она проделывает аналитическую работу³³.

и преисполненных (*pregnant with*) смысла. Его можно принять благосклонно, как средство обретения, распространения и принятия естественного знания, или хмуро, в качестве создания, рекламы и навязывания произвольного мнения, — или, без сомнения, еще несколькими способами. Термины исторического анализа, даже нечеткие, могут превратиться в шиболет. Могла ли „Структура научных революций“ быть продана в миллионах экземпляров без характерного для нее использования „парадигмы“ и „нормальной науки“?» (*Heilbron J. L. A Last Judgment. P. 123*).

30. Wood P. Behemoth v. the Sceptical Chymist, Revisited. P. 126.

31. Lijing J. Taking Experiments Afresh Again // *Isis*. 2017. Vol. 108. № 1. P. 133–135.

32. Pestre D. The Making of a Reference Book // *Isis*. 2017. Vol. 108. № 1. P. 119.

33. Pinch T. All Pumped Up About the Sociology of Scientific Knowledge // *Isis*. 2017. Vol. 108. № 1. P. 127–129.

Не вдаваясь в подробности, можно заключить, что разделение на «историков» и «социологов» в связи с «Левиафаном» носит методологический характер: характерное для «старой», гуманитарной методологии истории внимание к обстоятельствам, документам и деталям, которого явно недостает авторам книги³⁴, сталкивается здесь с характерной для социологии «генерализующей» методологией естественно-научного типа, игнорирующей частности и ищущей устойчивые тенденции и мотивы; в результате «историки» всегда находят контрпримеры и считают неаккуратно сделанные обобщения неприемлемыми *методологически* (то есть безотносительно конкретного содержания), а «социологи», заранее принимая противоречивость человеческих мотивов (и готовые, например, к несоответствиям деклараций и действий), просто неспособны содержательно реагировать на критику «историков».

Таким образом, историки «защитились» от «Левиафана», отторгнув «социологический жаргон», без которого от работы, и правда, мало что остается, а социологи поставили книгу на полку канонических работ эпохи зарождения SSK и STS и утратили чувствительность к ее специфике. Поэтому самодиагностика Шейпина и Шеффера, полагающих, что книга, «как оказалось, мало повлияла на историографию философии природы XVII века»³⁵, не выглядит жестом показной скромности. В таком случае где же искать огромное влияние и культовый статус «Левиафана»?

Вместо заключения: к эпистемологическим универсалиям нового типа

Один из «молодых» рецензентов «Левиафана» отметил, что книга имела колоссальное значение для выстраивания моста между историей и философией науки — становления исторической эпистемологии³⁶. Именно это направление, получившее второе дыхание на рубеже XX–XXI веков, оказалось наиболее восприимчиво к методологическим посылам, инструментарию и способам работы, намеченным Шейпином и Шеффером.

34. Это последовательно демонстрирует Вуттон, в своей работе неоднократно подчеркивая исторические ошибки и, предположительно, недостаточно глубокое знакомство Шейпина и Шеффера с источниками, — см., напр.: Вуттон Д. Изобретение науки. С. 225, 261 и др.

35. Shapin S., Schaffer S. Authors' Response // *Isis*. 2017. Vol. 108. № 1. P. 143.

36. García-Deister V. El Leviathan y la bomba de vacío, an Enduring Epistemological Intervention // *Isis*. 2017. Vol. 108. № 1. P. 137.

Наиболее впечатляющим примером такой рецепции является знаменитая работа, давно уже ставшая классикой исторической эпистемологии, — «Объективность», написанная Лоррейн Дастон и Питером Галисоном и впервые опубликованная в 2007 году³⁷. Хотя «Левиафан и воздушный насос» ни разу не цитируется авторами «Объективности», при сравнении двух книг просматривается преимущество и очень серьезное влияние работы Шейпина и Шеффера — не важно, является ли оно прямым или опосредованным, но «Объективность» крайне сложно представить без «Левиафана». Взаимосвязь прослеживается повсюду: и в названиях глав, пропитанных семантикой зрения и наблюдения и часто просто перекликающихся (*Seeing Double — Seeing Clear; Seeing and Believing — Epistemology of the Eye*), и в ключевых концептах, не говоря уже об общем пафосе историзации эпистемологии и обращения к материальным объектам и практикам в качестве предмета исследования (насос — у Шейпина и Шеффера, научные изображения — у Дастон и Галисона), и в тезисе о неразделимости социальных и эпистемических структур и выделенной темы дисциплины познавательных инструментов и практик. Безусловно, по отдельности перечисленные исследовательские установки можно найти у многих авторов, в том числе более ранних, чем Шейпин и Шеффер (например, у Людвиг Витгенштейна, Мишеля Фуко, Томаса Куна, Майкла Полани, Людвика Флека и др.), однако вся совокупность характерна именно для рассматриваемых работ.

Если для историков объекты и связи, с которыми работают Шейпин и Шеффер, эфемерны и противоречивы, а для социологов — привычны и недостаточно «симметричны», то в сфере исторической эпистемологии уровень анализа и типы причинности, которые удалось наметить авторам «Левиафана», подошли идеально. Историк науки

... пишет о дискретности и непрерывности в развитии науки, о научном языке, научных понятиях и теориях, о научных специальностях, дисциплинах и областях научного знания³⁸.

То есть он имеет дело с текстами и исходит из презумпции рефлексивности их авторов, и расширение числа значимых источников за пределы собственно отмеченных как «научные» принци-

37. Дастон Л., Галисон П. Объективность / Пер. с англ. Т. Вархотова, С. Гавриленко, А. Писарева; под ред. К. Иванова. М.: НЛО, 2018.

38. Печенкин А. А. Введение // Печенкин А. А. и др. Технонаука как категория истории естествознания. М.: ИИнтелл, 2018. С. 6.

пиально ничего здесь не меняет³⁹. В отличие от традиционной истории науки, историческая эпистемология работает с объектами иного уровня: с институциональными структурами рациональности — правилами, объективированными в самых различных культурных институтах. Эти правила не всегда (а часто и совсем не) являются осознанными, однако сопоставление различных предметных срезов социокультурного целого позволяет выявлять такого рода институциональные структуры. Их существование обнаруживается, в частности, в материальной не-текстовой культуре (например, в изобразительных или экспериментальных практиках), и анализ соответствий позволяет более-менее убедительно реконструировать институциональные связки, предьявляющие отдельные правила и их системы (примерами могут служить исторические типы объективности, выделенные Дастон и Галисоном).

В этой связи особую значимость приобретают причины и типы причин, отвечающие за появление и воспроизводство конкретной эпистемологической программы, например экспериментализма. Подавляющее большинство современных исследований ограничиваются аналитическими описаниями наблюдаемых, то есть документированных, событий (исторический анализ), локальными функциональными объяснениями и разбором конкретных примеров (микросоциология, доминирующая в STS) или универсалистской метафизикой, уводящей читателя от мира, в котором он живет, в область существования объектов и связей принципиально иного типа.

Шейпину и Шефферу удалось предложить совершенно иное решение — правда, потерянное впоследствии как читателями, так и самими авторами⁴⁰. Речь о социальном согласии, которое авторы вроде бы сделали центральной темой книги, но почти полностью упустили в конце. Поиски оснований социального согласия, вдохновлявшие, по признанию авторов, всех участников описываемых ими событий, стали ответом на тяжелейшее культурное потрясение, поставившее под сомнение основания социального порядка как такового. Эта ситуация *заставила* социокультурную систему

39. Печенкин А. А. История науки как концептуальная база философии науки (дискуссии XXI в.) // Технонаука как категория истории естествознания.

40. Мне удалось обнаружить всего одну рецензию, где специально было уделено внимание теме социального согласия как осевой проблеме интеллектуальных поисков третьей четверти XVII века, однако даже в этой рецензии автор быстро отвернулся от данной темы: Westfall R. Book Reviews: Steven Shapin, Simon Schaffer, Leviathan and the Air-Pump: Hobbes, Boyle, and the Experimental Life // Philosophy of Science. 1987. Vol. 54. № 1. P. 128–130.

мобилизовать все интеллектуальные ресурсы на решение эпистемологической проблемы, которая одновременно была и проблемой политической: основание социального порядка должно быть найдено, и оно должно быть найдено в мире, где человеку не на кого полагаться, кроме себя. Порожденное Английской революцией социальное одиночество естественным образом толкало к поискам общего согласия и сплочения вокруг непосредственно данного индивиду (фактов, данных в чувственном опыте, и разума, неустрашимого в интроспективном опыте) — это единственное очевидное основание в условиях, когда даже на Бога надеяться нельзя⁴¹.

Эта схема — рожденный глубоким потрясением культурных оснований страх⁴² направляет общество на поиски правил, способных его защитить, то есть эпистемологии и социальных институтов, всегда идущих в связке, — в перспективе способна дать как типовое, так и множество частных решений одной из самых старых и завораживающих проблем истории знания: причинного объяснения эпистемологических изменений или, иначе, культурных сдвигов и различий между культурами. По оптимистическому замечанию Джона Хейлброна, время «Левиафана» «еще не пришло»⁴³.

Тарас Вархотов

Доцент кафедры философии и методологии науки

философского факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

41. Похожую схему объяснения использует Людмила Косарева, работающая преимущественно не с британской, а с континентальной, в частности связанной с Декартом, историей появления новоевропейской интеллектуальной культуры («науки»). См.: *Косарева Л. М.* Социокультурный генезис науки Нового времени. М.: Наука, 1989.

42. Ср. с концепцией эпистемического страха, развиваемого Дастон и Галисоном в качестве причины зарождения эпистемологий, см.: *Вархотов Т., Гавриленко С., Иванов К., Писарев А.* Объективность и ее история // Дастон Л., Галлисон П. Объективность. М.: НЛЮ, 2018. С. 5–42.

43. *Heilbron J. L.* A Last Judgment. P. 123.